

Нина Савушкина

Небесный лыжник



Нина Юрьевна Савушкина

Небесный лыжник

Серия «Петроградская сторона»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12845034
Небесный лыжник: Геликон Плюс; Санкт-Петербург; 2015

Аннотация

В новую книгу стихов известной петербургской поэтессы Нины Савушкиной вошли избранные стихи, написанные за несколько десятилетий, в том числе из книг «Стихи» (1996), «Пансионат» (1999), «Прощание с февралём» (2005) и «Беседка» (2011). Также в книгу включены новые, ранее нигде не опубликованные стихи.

Савушкина – мастер поэтического портрета и пейзажа, что в полной мере отразилось в данной книге.

Книга «Небесный лыжник» в рукописи получила премию имени Анны Ахматовой в 2015 году.

Содержание

Часть 1. Внутри часов (стихи восьмидесятых и девяностых)	6
Внутри часов	6
Отражение	14
Пансионат	27
Рыба	33
Почитателю	34
Старуха ночью	37
Девушка из массовки	39
В трамвае	42
Размышления возле гардероба	43
Встреча	45
Букеты	47
Мимо вашего дома	49
Осётр	53
Молитва	56
Часть 2. Осенний сад	58
Небесный лыжник	58
1	58
2	59
Реанимация природы	61
Наводнение	63
Снежный король	65

Март	67
Ондатры	70
Смерть зимы	73
Прощание с февралём	75
Дачница	77
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Нина Савушкина

Небесный лыжник

© Савушкина Н., текст, 2015.

© «Геликон Плюс», макет, 2015.

* * *

В. А. Лейкину – моему литературному гуру

Часть 1. Внутри часов (стихи восьмидесятых и девяностых)

Внутри часов

Мне кажется, я в этот мир попала,
как бабочка в настенные часы,
где стрелок заострённые усы
слегка дрожат в предчувствии обвала

внутри часов, где циферблат распух,
отведав будто времени пощёчин,
где маятник летает, скособочен,
царапая мой запотевший слух.

Но, оказалось, время истекло,
как спелый плод, раздавленный пятою,
и точка, вытянувшись запятою,
налипла трещиною на стекло.

Так расшатался мир свинцовых гирь,
прогнулся, точно ветхие подмостки.
Растерянно застыл на перекрёстке
автоинспектор, толстый, как снегирь,

не ведая, куда направить лёт
всех бабочек, оставшихся без крова,
пока потоком воздуха сырого
их времени корова не слизнёт.

А мне осталось, зацепившись тут —
внутри часов, как в избранном застенке,
разглядывать узор пыльцы на стенке,
где мои крылья также отцветут.

* * *

Осенний стих, написанный зимой,
является некстати, как хромой
проситель за похлёбкой даровою.
Почти на четверть года запоздав,
встаёт в дверях он – скромн и лукав,
с котомкой, полной старою травою.

Жгуты травы поддерживают связь,
осеннюю желтеющую грязь
мешая с зимним заревом с востока.
Доброжелателен, как аноним,
былого голос. Я иду за ним
меж частных дач и бурых водостоков.

Здесь даже снег ложится под углом
к строениям, предназначенным на слом.
В снежинках пропылённого фарфора
стоит природа, как настенный пласт,
и пробивают сумерки и наст
стеклянные затылки светофора.

Но осень не вернуть, не возвратить.
И взгляд нельзя от снега отворотить.
Осенний стих – нескладный переросток, —
испарину листвы и луж храни
внутри. Перед презрением брони
всё стянуто чугуною коростой.

Мы вспать идём. Постукиванье ног,
и сказочной зимы стеклянный рог,
и оторопь февральских красных пальцев
отщёлкивают в такт: «Пляши, пляши».
Но памятник стоит вверху. В тиши
над ним горит звезда. Звезда скитальцев.

* * *

В тот год вневременной и незаконный
зима не вышла на дежурство в срок.

Её сосульки голубой шнурок
пока не тяготил карниз оконный.
А воздух был – как плавленный сырок —
бесформенный, размякший и зловонный...
Темнело, впрочем, вовремя. Но мгла
в тот год крещенским холодом не жгла.

Мы собирались в Комнате досуга —
в тот год нам позволялась эта блажь.
Нас жизнь не била – это был массаж,
но руки сами скручивались туго,
как выжатые простыни. Фиксаж
похож на память, как на гроб – фрамуга.
Черта здесь обнаружится одна —
добротны крышки, нет, однако, дна.

Мы собирались... Тишина меж нами
ступала в грубых шерстяных носках.
И треугольной жилкою в висках
подрагивала в нас (как в лампах пламя)
надежда. Мы на низеньких мостках
условились встречать своё цунами...
Волна прошла, и треть из нас на дне.
Что ищут остальные в прошлом дне?



В трамвайном стекле отразился мой скошенный глаз.
Он смотрит на дом, чья окраска напомнила квас —
коричневый, в белых потёках; и так одинок он,
что в крайнем из окон представить мне хочется вас.

Вы там почему-то сидите почти стариком,
задумавшим вспомнить всех тех, кто был с вами знаком.
Душа ваша в прошлом, а тело пока с настоящим
пытается сладить, как ключ с проржавевшим замком.

Зимою, спросонья, мерещится в дальнем углу,
что тот, кто меняет пластинку и ставит иглу,
почти что телесен... Но звук механических песен
старательней ножниц надкусит пятнистую мглу.

Потёртые тени в эпоху больших сквозняков
бесформенной пылью стирает со стен, потолков.
На месте, согретом тенями, – отныне портреты.
Художник, исполнивший их, не совсем бестолков.

Портреты, истлев, принимают обличья теней.
И эти постигнет такая же участь, но в ней
не будет резона. Плоды грозового сезона
не делают тени. При жизни им было темней...

Чугунный фонарь возле вашего дома рогат...
Вкушая кофейный напиток – плохой суррогат,
Вы смотрите вдаль, где лиловый, как пламя спиртовки,
мигает рассвет – подогретый вчерашний закат.

* * *

Комнату помню и розовый свет на обоях,
россыпь дешёвых конфет на столешнице гнутой.
Чашки фаянсовый край остывал под губою,
и становилось отчётливей с каждой минутой —
я проскользнула вам в то, что зовётся судьбою,
словно в разношенный тапок ногою разутой.

В мире, где все мы покрыты текстильной корою,
ставнями тусклых очков, занавесками щёлок,
душу свою вы любили проветрить порою.
«Мне ли не быть сквозняком – порождением щёлок.
Где, как не там, я незримую шахту пророю,
дабы пыльцу собирать с трудолюбием пчёлка?» —

думала я, а мои нестерильные пальцы
в вашей судьбе копошились проворно, как в тесте.
И, в анекдот добавляя шипящего сальца,
разве я знала, что всё загорится на месте?

Я только ситчик продела в железные пяльцы,
вышила крестик, не зная, что выпадут крести.

В Доме крестовом, как прежде, всё в должном порядке.
Ваше жилище отныне спокойно, пустынно...
Переступив через вас, как межа через грядки,
я удаляюсь, поскольку ни в чём не повинна.
И, уходя, обещаю не делать закладки
в Книге судьбы, как бы ни были повести длинны.

* * *

Осенней аллеи наборный паркет
выводит на берег крутой.
Весь парк с высоты, как прозрачный пакет,
упругой налит пустотой.

Отсюда берёз вертикальная дрожь
видна, как в пробирках вода.
И башни вокзальной игрушечный нож
не делает тучам вреда.

Но вдруг из угла, где прозрачная мгла
щекочет затылок сосны,
свернувшись в спираль, облетает игла —
концы её странно красны.

Сквозняк обрывает обои листвы,
аллею закрыв на ремонт,
но сверху в заплатках сквозной синевы
на нас надвигается зонт.

Под крышей его – страшноватый уют,
где каждый прохожий – изгой.
Лишь поздние птицы без пользы клюют
предплечье скульптуры нагой.

Отражение

Вы всегда относились с опаскою к чёрной воде,
к безразмерной реке и пустынным домам на пригорке.
Только пруд – не река. Словно ключ, он висит на гвозде
островка. И должно быть, на вкус металлически-горький.

Впрочем, пруд никого не поил, не растил, не рожал,
не держал на себе ни парома, ни лодки, ни флота,
незнакомые лица на водах своих отражал
и себя выражал через эти мгновенные фото.

Наклоняясь к нему, мы имели четыре лица
и вполне походили на карты из общей колоды.
И задумали мы ни начала не знать, ни конца
и остаться такими, какими нас видели воды.

Мы исчезли в пруду. И ушли вместо нас двойники
в переменной дрожи прозрачны, пусты и незорки...
Вы не стали бояться скользящей куда-то реки
и купили себе заколоченный дом на пригорке.

Моя новая жизнь незатейлива, тихо проста,
как сухого листа к неизменной земле приближенье.
Только чья-то фигура под вечер стоит у моста —
так былую меня посещает моё отраженье.



Наступают холода, когда
воздух либо сворачивается, не достигая носа,
либо впивается в щёку, словно заноза.
Земля скользит под ногой ледяной бутылью.
Спина принимает форму знака вопроса,
сопротивляясь непрошеному усилью
ветра и притяжению льда.
Глазам остаётся смотреть,
как ветер ломает кустарника тонкие трости,
вбивает в почву травы заржавелые гвозди
и тем оголяет газон розовато-ветчинный.
Губам остаётся слагать стихи о норд-осте,
весьма отдающие мертвечиной
наполовину или на треть.
Мёртвая книга, читаемая везде,
темнеющая, как прорубь, зовущая наклониться —
вот что такое холод. На каждой странице
не буквы хрустят – ледяные осколки бутылки.
Книгу читают вслух ученики, ученицы.
Лиц их почти не видно, зато затылки
опрятны, как первый снег в борозде.
Бывшие мысли плывут в ледяную пыль.
Тело стремится забыть себя, как основу,
и привыкает с ветром играть в подкидного.

Мерно кочует кровь по стеклянной вене.
Белыми трубками, лампами света дневного
на небесах декабря повисают мгновенья
жизни, закупоренной в бутыль.

* * *

Мне снился сон, где было нам тепло
и белый торт нас ожидал на кухне.
Сидели мы. А шкаф возьми и рухни.
И одиноко звякнуло стекло.
И по стеклу потёк пурпурный джем...
Тогда квартиросъемщица налево
забила по стене незнамо чем
в припадке истерического гнева.
Неясный шум оформился в скандал.
И, взяв из разоренного комода
червонец задубелый, как сандал,
я вышла вон. Навязчивая мода
на ногти наносить лиловый лак
смутила мою нежную натуру.
Купив его в галантерее сдуру,
я села в электричку – просто так...
Я точно помню – был осенний день,
вдоль окон плыли жёлтые равнины,
закат цветов разделанной свинины

сгонял в канавы сумерки и тень.
Но я, сойдя на полустанок свой,
шагала почему-то по сугробам
(во сне бывает всякое, особо
когда ты спишь на запад головой).
Я, бережно размешивая снег,
несла свою, пусть мелкую, удачу.
Как вдруг – внезапный шок, обратный бег —
забыты в электричке лак и сдача...
Примчался поезд – бешен и огнист.
Я шарила под каждую скамейкой.
Меня жалел красивый машинист —
так создалась вагонная семейка.
Я, памятуя свой давнишний сон,
теперь спала к востоку головою.
Пятнадцать лет мы жили в унисон.
Не помню, как я сделалась вдовою.
Я продолжала жить в своём купе
уже одна. Нет, кажется, с потомком,
когда однажды за окошком тонким
возник мой городок на букву «П».
Я спрыгнула в сугроб, пришла домой,
нажала кнопку, мне открыла мама.
Я ожидала возгласов, но прямо
она спросила: «Где червонец мой?»
... Вот каковы бывают наши сны —
причудливы, как роспись на эмали
они всегда, с какой бы стороны
от полнолуныя мы ни задремали.



Никто среди нас не умел так уютно страдать:
выдавливает фразу, как пробку из полной бутылки,
лицо запрокидывает блюдцем и так ожидать
чьего-то плевка, вопрошая безмолвно: «Не ты ли?» —
как будто мы вас обокрали, раздели, убили.
Под таким взглядом, не кривя, захочешь отдать.

Отдать что угодно: богатство, талант, красоту.
В присутствии вашем пятак – показатель излишка.
Красивость бестактна. Еда застревает во рту,
и скорость рождает одышку, а сытость – отрывку.
В смущенье талант маскируется в серую мышку.
У норки мышьиной вы чертите мелом черту.

Вы любите слово «душа». Ваше сердце – сосуд,
в котором вы холите боль, как хозяйка – герани.
Глаза обнажённые жалость из встречных сосут,
поскольку умеют задеть сокровенные грани.
Вы в каждой руке принесёте по колотой ране,
явившись однажды на свой заключительный суд.

И судьи заявят, что с миру по нитке у всех
из жизни тянули, беспечно прорехи латая.

Но вас оправдают за этот единственный грех...
И вот Вы живёте вторично, уже процветая.
В глазах ваших – твёрдых и выпуклых, словно орех,
проносятся птицы, как щепок обугленных стая.

* * *

Кариатида опускает веки,
внезапно ощутив себя в отсеке
затопленной врагом подводной лодки.
Но скорчившись, как будто от щекотки,
взирает сверху проходящим в темя...
Она была и с этими, и с теми,
поскольку каждый движимый – хозяин
для мраморного торса, что припаян.
А ныне ей владеют люди, кои
не смеют ночью посещать покои.
Они (конечно, ни во что не веря),
стыдливо опечатывают двери,
боясь, что донесётся им вдогонку
ущербный смех безвинного ребёнка...
Торчат в окне обрубленные ветки,
и чуть пониже инвентарной метки
на зеркале старательно замазан
стремительный, как выстрел, след алмаза.
Немые вещи в лабиринте комнат

подольше нас живут, побольше помнят.
Кариатида вспомнит лодку, стоя,
затоплена по горло темнотою.
Дворец себя увидел в сетке мрака
в обличье пленного речного рака
и, боковым крылом прикрыв фасады,
пытается прорваться из засады.

* * *

Ноябрь умирает. Сосны прошлогодний укроп
приветствует нас на одной из предложенных троп,
и зуд словопрений, творений, неярких горений
ведёт нас по ней до условленной надписи «Стоп!».
Дойдём и за это получим благие советы,
как делать из времени липкий домашний сироп.

Желающий мудрую песню сложить, не забудь
слова: благодать, бытие, человечество, суть.
Нет песни бесценнее той, что звучала на сцене.
Так слушай солистку, чей взор беспокоен, как ртуть.
Дробится лицо у певицы, однако ключицы
прочны, словно балки строенья под вывеской «грудь».

Пишите картину, где воздух свернулся, как суп,
где божья коровка похожа на вырванный зуб.

Сутулая мышь собирает на грядке остатки
невидимых круп, но темней, чем мышиный тулуп,
спускается туча, дырявый картуз нахлобуча
на купол церковный и фабрику в несколько труб.

А ты, убедившись, что гомон воскресный затих,
поведаешь нам тот рецепт, по которому стих
берётся из пальца, с добавкой горчицы и салца
(но в меру, чтоб был целомудрен, как в сказке жених).
Пегас твой – он благонамерен, как истинный мерин.
Здесь каждому жребий отмерен, но ты не из них.

* * *

Когда год Крысы подходил к концу,
из недр провинциального вокзала
застенчивая крыса выползала
и, скорчившись как вязаная гетра,
вонзала треугольную ноздрю
в сырой поток приземистого ветра,
который тёк навстречу январю...

Когда год Крысы подходил к концу,
переплавляя в сумерки усталость,
мне часто снился сон, где я пыталась
спасаться бегством... Что меня влекло

отсюда? Я в сугробе закопала
свой разум и в истории влипала,
как будто снег в оконное стекло.

* * *

Вокзальный сквер. Зелёная канава.
Обмылки плесени конкретны, как отравы
в бокале забродившего вина.
Безвреден яд, и все мы живы. Слава
Богу...

Лишь памятник рукой, подобной рогу
или трубе для стока талых вод,
который год
щекочет небосвод.
Он ждет,
когда луна покатится в рукав.
Его чугунный рот
незыблем и лукав.
Своею тенью перст
пронзил кирпичный склад
и башню, где отверст
белёсый циферблат.

На циферблате вспыхивает «три».

Ночной вокзал процежен изнутри.
Стекланный, герметичный, как колпак,
он воздух обращает в душный лак.
И этот лак фиксирует навек
скамью с десятком спящих человек...

Открой глаза. Под веками песок.
И мысли потекут наискосок...
Настало утро.
Надо выпить сок,
смыть пудру
и подумать о билете...
Цыганки моют ноги в туалете.
В губах у них дрожит по сигарете...
Переполняется терпенья чаша.
И вот,
продолговатый, словно пишевод,
пришёл состав, и нам сказали: «Эти
два места будут ваши...»

Познали радость мы сполна,
когда широкая спина
вполне любезной проводницы
сокрылася за дверью, для
того чтоб приготовить чай...

Наш поезд ехал (так шершавая петля
сползает по вязальной спице).
Плясал в окошке иван-чай.



В доме прежней подруги, где я перестала бывать,
где высок потолок, а внизу распласталась кровать, —
представляю тебя за столом со множеством трещин.
Крутолобых поклонников в мирный кружок собрав,
демонстрируешь новый, ещё тесноватый нрав,
подгоняя свой сложный взгляд под простые вещи.

Кто из басен твоих нацедил через марлю мораль?
Кто тебя надоумил закручивать нервы в спираль?
Это тело доступное – кем оно ныне ведомо?
Кем твой выпуклый взгляд запланирован был на ожог?
Кто вложил в эти губы свистящий металлом рожок?
Бог? Навряд ли. Скорее, сердитый божок
коммунального дома...

Пролистав каталог разномастных своих королей,
ты на скатерть вино или слёзы в жилетку пролей,
или пух тополей наблюдай в привокзальном канале.
Расчлени пауков, изучая природы нутро.
Ублажай стариков, подсекая им беса в ребро.
Согреши. Но прошу, не пиши
сочинений на темы морали.



Как гости без подарка,
по направлению к парку
мы шли, ища скамью —
она к холму, как марка,
крепилась на клею.

Поход наш с остановкой
беседою неловкой
тоски не разогнал...
Цветочною перловкой
прокашлялся канал.

Закат померк до срока —
так угасает око
забитого быка.
И смертной поволокой
сомкнулись облака.

Так неостановимо
прошелестела мимо
ещё одна среда.
И зубы херувима
блеснули в два ряда.

В сплетении растений
мелькнули наши тени
и разбежались врозь.
И более нигде не
встречались... Не сбылось.

Пансионат

Однажды, совершая променад,
случайно забреду в пансионат
заброшенный, поскольку сзади он
являет заржавевший стадион.
На финише дорожки беговой —
без шеи, но с квадратной головой
изображён стремительный спортсмен.
А в глубине, среди бетонных стен
столовой – надломившийся плакат,
где повар, красномордый, как закат,
спешит сказать невидимой толпе
курортников: «Приятного аппе...» —
и воздух рядом, кажется, согрет
полузабытым запахом котлет.
Вот корпус. Он захлопнут, как сундук.
Внутри лежит невыветренный дух
застоя с лёгкой примесью тоски.
Разрезан этажами на куски,
он вытек, как рассол из огурцов.
Там в глубине знакомое лицо в
пурпурной рамке, вытертый ковер с
пятном от швабры, кресел пыльный ворс.
Здесь хочется застыть и замереть
и, жизнь свою поворотив на треть,
купить путевку в давешний покой,

остаться здесь – ничьей и никакой...
Так гипсовый олень без головы
уже не слышит запахов травы,
но, к постаменту намертво прибит,
обломком горла в небеса трубит.

* * *

Воздух тёплый, как безумие,
как плевков в лицо зиме.
Сосны, словно рыбы мумии,
греют кости на холме.

В ожиданье стынут супницы
параллельных двух озёр,
но в руке весны-отступницы
скоро треснет их фарфор.

Под лучами непокорными
в муке выгнется дворец
и взорвётся окон зёрнами,
как созревший огурец,

потечёт слоёной охрою
с яйцевидного холма...
Ах! Такой весною мокрою

хорошо сходить с ума!

* * *

Мне не прорваться через сон,
он опечатывает жилы,
и пустота со всех сторон
меня, как вата, обложила.

Как видно, далеко зашла
судьбы неумная насмешка.
Я загадала на орла,
а мне в ладонь упала решка.

Был горизонт мой как стекло,
а ныне пятнами залапан.
И ты, как будто бы назло,
мне перекрыл последний клапан.

Какое право ты имел
совать пронырливые пальцы
в тайник прошедшего, где мел
воспоминаний осыпался?

Твоё лицо мне застит свет,
как будто яблоко гнилое.

Его я сбить пытаюсь с ветки,
и припорошить золою.

Ты, впрочем, был со мной знаком
так мало, что не стоит вякать,
когда хрустит под каблуком
недораспавшаяся мякоть.

* * *

Я читаю громко – из своего,
когда нужно шёпотом – из чужого.
Все вокруг обратились в слух, но его
так же сводит, как челюсть от долгого жёва.

Девочка с глазами бассет-хаунда,
нетерпеливо покачивая носком ботинка,
ждёт окончания первого раунда,
но я сдамся ещё до конца поединка.

Ибо мозг мой вял, словно чайный гриб,
что осел на дне запотевшей банки.
Замолчать бы, но имидж ко мне прилип,
надоев, как струп на подсохшей ранке.

Как бессильны комнату отразить

зеркала, что гаснут под чёрным крепом,
так и я навряд ли смогу сразить
ваши души слогом своим нелепым.

И поскольку оно ничего не даст
вам, услышать это почти хотевшим,
ваши лица крошатся, как пенопласт
в кулаке реальности запотевшем.

* * *

Где ты – полузабытая подруга,
в течение года слывшая такой,
с кем дружба, словно конская подпруга,
порвалась, перетёртая тоской?

Прозрачным и неясным, как медуза,
бывал твой взор к двенадцати часам.
Душа была раскрыта, словно луза,
и странный ток бежал по волосам.

И ты, прижав своё цыплячье темя
к холодной неокрашенной стене,
всё слушала, как уплывает время,
сверкая, как лосось на быстрине.

Оконце заволакивало тиной,
а лампочек осталось только две.
Приятель твой отсвечивал щетиной
на абсолютно круглой голове.

Плохой портвейн в неподходящих чашках
темнел, как передержанный фиксаж.
Все вспоминали о каких-то Сашках
и тут же посылали на фиг Саш,

Валериков, Марин и прочих с ними,
чуть позже говоря о них тепло...
И на губах задерживалось имя,
а время между тем текло, текло

из этих стен, как будто бы из плена,
не ведая, длинна ли, коротка
бывает жизнь. И коридор колено
сгибал, как для прощального пинка.

Рыба

В снегу, где каждый отпечаток шага
отсвечивал подобием ушиба,
валялась на крыльце универсама
прихваченная изморосью рыба.

Глядело смерти тридцать сантиметров
в сухую тьму слоёными глазами,
и не вода, а лишь осколки ветра
сквозь треугольный рот в неё вползали.

Та, что подобно лезвию кинжала
пронзала плоть (пусть бывшую морскою),
сейчас настолько явно выражала
то, как мечта становится тоскою,

что собственная кровь казалась белой
и не текла, а проносилась, вея,
к последней проруби, что стекленела
чуть ниже ворота и чуть левее.

Почитателю

Вы мои стихи, как почитатель,
почитав, сглотнёте, словно слизь.
Я не знаю, кстати ли, некстати ль
наши мысли вдруг переплелись.

Вы напрасно морщите над книжкой
злые скобки воспалённых губ —
вход туда для вас закрыт задвижкой.
А реальный мир настолько груб,

что любое соприкосновенье
с ним дарит очередной синяк
сердцу, изнемогшему в биенье
в теле, словно ласточка в сених.

Не изобразить вам, впрочем, фавна
по лесам безудержный полёт.
Эти ногти – мягче целлофана,
им не надломить запретный плод.

Не пристало пяткам носорога
вытворять классические па...
Вам от жизни перепало много,
но судьба была не столь слепа,

разливая души в оболочки,
словно во флакончики духи.
Если вы не стоите и строчки,
то на кой вам чёрт мои стихи?

* * *

Он рос, как новый сорт, что в буреломе
обронен пьяным селекционером.
И, повзрослев, ни под каким углом
не проходил там по своим манерам.

Он умер, ибо слишком был серьёзен,
хоть легче жить пытался и хотел,
но от несовпадения душ и тел
он каждый раз потел до самых дёсен.

Вдруг стало больно несколько иной,
доселе не изведанною болью,
как будто обтянул он шар земной
всей кожей, истекающею солью.

День канул, как лимон, что утопили
в стакане чая, и настал покой,
когда висит над каждою строкой
едва заметный столбик лунной пыли.

А мыслящее мясо в пиджаках
уже всю протискивалось в двери.
Но это был ещё не полный крах,
а только страх. Внезапный страх потери.

Старуха ночью

Старуха спит. Ей надоело
всё, что упорно не даёт
её грузнеющему телу
в последний двинуться полёт.

Старухе хочется наружу.
Она сама себе тесна,
но снова в жизнь, как будто в лужу,
она ныряет после сна.

Спускает ноги. Мир, враждебен,
теснится с четырёх сторон.
Ей надо заказать молебен
себе на случай похорон.

Глаза, вспухая мокрой гречей
сквозь розоватый пар волос,
всё ищут тех, кого сберечь ей
давным-давно не удалось.

Расталкивая тьму повсюду,
она мечтает, чтоб ночник
от электрического зуда
взорвался светом, как гнойник.

Она застряла в коридоре
меж этой жизнью и той.
Ей слышится дыхание моря
за предпоследнюю чертой.

И в коридоре, будто в горле,
она трепещет, как кадык,
покуда стены не растёрли
её невырвавшийся крик.

Скорей у жизни на излёте
в прощальном приступе тоски
стянуть с себя излишки плоти,
как пропотевшие носки...

Она уже почти у цели...
Вдруг – свет. За дверью унитаза
журчит. Она бредёт к постели.
Она жива – в который раз.

Девушка из массовки

Зачем вы, девушка, пришли в кино —
не зрителем, а в качестве объекта?
Вам впору прославлять прокладки, но
вдруг захотелось старины. И некто

любезно снизошел до ваших ран,
навязчивой мечте сумел помочь. Вы
растерянно блестите сквозь экран,
как полустёртый гривенник из почвы.

Вы так торчите среди чуждых сфер,
как те корсетом вздыбленные бюсты,
что призваны заполнить интерьер
среди шпалер под цвет морской капусты.

Ваш кавалер ценою в пятак
подавлен, словно в пальцах сигарета,
его лица унылый кабачок
свисает из-под жёлтого берета.

Вам эта жизнь придуманная жмёт,
как жмут недоразношенные туфли.
Вы залпом проглотили этот мёд,
а после погрустнели и опухли.

Послушно отвыкаете мечтать,
и рёбра в одеянии старинном
скрипят, как та железная кровать,
покрытая атласным балдахином.

* * *

Я уже не вернусь в эту синюю комнату,
где торшер от пыли махров, словно шмель,
и в прихожей на наступлю каблуком на ту
прошлогодней мастикой залитую щель.

Я осталась бы здесь, словно в лампе запаяна,
разгорелась бы ровной электродугой.
Только времени нет, ведь по воле хозяина
послезавтра меня заменяют другой —

Той, что будет хранить вековое молчание
этих стен, чей размах ей немного велик,
и пугаться в момент, когда из-за плеча её
проскользнёт в зеркалах то ли взгляд, то ли блик,

как намёк на безумства, какие могли бы мы
здесь устроить, когда б ты меня отыскал...
Я ушла, но глаза мои сонными рыбами
притаились в густой амальгаме зеркал.

В трамвае

Трудно понять – мы едем или плывем,
если трамвай в густой слюне атмосферы,
как леденец, засасывают в проём
челюсти улиц, в которых все зубы серы.

Здесь умирают, как зубы, дома. Один
весь потемнел изнутри, веками подточен.
Он заразит соседний, что невредим,
ибо они растут из одних обочин.

Город-кроссворд, сплетение чёрных дыр
мёртвых квартир, чьи окна давно погасли,
и золотых, в которых мерцает мир,
плавают тени, как шпроты в янтарном масле.

Бегло считая клетки – каких большинство —
по вертикали, затем по горизонтали,
не догадаешься, мрак или свет из чего
проистекали, откуда произрастали.

Кажется, близко разгадка. Пока прямо
наша дорога. Но вдруг – поворот, кривая...
Времени нет на то, чтоб сойти с ума, —
лишь соскочить с него, как с подножки трамвая.

Размышления возле гардероба

Мне неприятен свет в начале марта,
когда лицу, затёртому, как карта,
неоднократно бывшая в игре,
не позволяет спрятаться в колоде
и вынуждает обращаться к моде
наперекор безжалостной заре.

Моё пальто – из синего холста.
Я в нём похожа на почтовый ящик.
Но я не вызываю чувств щемящих —
скорее не изящна, но толста.
И в нём не угадаешь даже ты
ни Золушки во мне, ни сироты.

А впрочем, у меня ещё есть шуба.
Но я её почти что не ношу. Ба —
бахнет кто-нибудь по голове
в глухом проулке – поминай как звали.
Очнёшься утром где-нибудь в подвале,
а может, не очнёшься, но в Неве.
Не стоит нынче мне идти на риск.
К тому ж весна. И слишком много бризг.

Скорее бы закончился сезон,
где выбор меж мехами и холстиной,

как будто меж грехами и рутиной,
едва ль не к философским отнесён.
И прислонился май, признав ничью,
к однообразно голому плечу.

Встреча

Увижусь с одноклассницей, с которой
мы оказались некогда в друзья
зачислены неведомой конторой.
И твой зрачок, как лампочка за шторой
засветится, навстречу мне скользя...

В своих игривых радужных лосинах
похожая на толстого пажа,
ты затмевала более красивых,
когда в глазах, как в переспелых сливах,
мерцала мысль, загадочно дрожа.

Мне помнится, тогда ты в жизнь впивалась
со всем азартом молодых зубов.
Откуда появилась эта жалость?
Куда девалось то, что выражалось
в двух терминах: «природа» и «любовь».

Твой детский нрав изрядно истрепал их,
любя до неприличия, взахлёб,
то юношей печальных, длиннопалых,
то город, что спасается в каналах,
как беглый сумасшедший из трущоб.

Теперь ты полюбила насекомых

и, оплывая мозгом, как свеча,
растроганно следишь за косяком их,
пока они в пространствах незнакомых
не растворятся, крыльями суча.

За ними ты пытаешься взлететь и
вдруг ощущаешь сумрачную плоть,
в которой ты застряла, как в корсете,
случайно унаследовав вот эти
два их рефлекса – жалить и колоть.

Букеты

В доме моем догорают букеты —
жертвенники юбилея —
скомканы, встрёпаны, полураздеты,
кожей несвежей белея,

словно не выпавшиеся кокотки
после лихой вечеринки,
что по коврам разбросали колготки,
шляпки, подвязки, ботинки.

Плещут во лбу – тяжелы, монотонны —
волны ночного угара.
Листья подёрнуты пеплом, бутоны
скручены, словно сигары.

Прежде мясистый, тугой гладиолус
пористым стал, точно губка.
Видно, внутри у него раскололась
жизни зелёная трубка.

И в подтвержденье, что праздник не вечен,
вот уже чайная роза
следом за ним набухает, как печень,
ржавчиной злого цирроза.

Каждой тычинкой назойливо тычут
в небо сухие растенья,
словно бы там уже сделали вычет,
словно для них – только тень я.

Мне-то казалось, что финиш далёк и
вся не исчезну я, сгинув.
Но с каждым днём всё бестактней намёки
астр, маттиол, георгинов.

Мимо вашего дома

Осенний ветер мне в лицо впитался
подобно косметическому крему.
Я чувствую: во мне заряд остался
на три стиха или одну поэму.
Но как мне поступить с таким зарядом,
когда я вас не ощущаю рядом?

Я поднимаю взгляд на занавески,
что росписью своей подобны Гжели.
Наверное, причины были вески
меня не принимать там. Неужели
я с ваших губ отныне буду стёрта,
как жирный крем от съеденного торта?

Возможно, я поддерживать некстати
пыталась груз чужого разговора —
так сломанная ножка у кровати
порой трещит, не выдержав напора.
И, чтобы успокоить треск в затылке,
я присосалась лишний раз к бутылке.

Я поломала умную беседу,
чем вас повергла в состоянье злости.
Пускай сюда я больше не приеду.
А как же ваши нынешние гости,

чьи думы, величавы и мудрёны,
безмолвно зреют, словно эмбрионы?

Приятели, что могут быть приятны
лишь тем, что в эту жизнь в иную пору
вошли, невыводимые, как пятна,
а также дамы, что любезны взору
задумчивостью несколько судачьей, —
неужто лучше справятся с задачей?

Вы с ними будете почти счастливым
в гармонии молчания и звука,
пока заплесневелым черносливом
из ваших глаз не вывалится скука.
Вы захотите «Спрайта», спирта, спорта
и дискомфорта, Боже, дискомфорта!

И вот тогда я не отдам вас пресным
гостям, забившим место рядом с вами.
Я заявлюсь, как прежде, днем воскресным,
пусть не телесно – мыслями, словами.
Я впрыснусь, как инъекция под кожу,
и вашу душу дивно унавожу...

* * *

Мальчик душою, телом не слишком юный
ночью в июне застигнут в своей постели
сном, от которого нервы его, как струны
арфы Эоловой, скорбно зашелестели.

В гулкой пещере тела сердечный клапан
затрепетал крылами летучей мыши.
Мальчик лежит, предательским потом заляпан,
и, приходя в себя, аккуратно дышит.

Мальчику снилось, будто его всосало
в бездну, где нам зачтется за каждый промах, —
в небо ночное, что летом белее сала,
даже белее сладких плевков черемух.

Видел, как в раскаленной вселенской пище
тело его растворялось, как ломтик сыра,
и, пробудившись, думал, во что вцепиться,
чтобы остаться частицей этого мира.

Надо сказать, он не то что боялся Геенны,
но одинокому, не отраженному в детях,
сложно продвинуть в грядущее бедные гены,
ибо не знаешь, в какую лакуну продеть их.

Как он в ребяческом страхе мечтал прислониться
к людям известным – актёрам либо поэтам.
Сколь куртуазно склонялась его поясница
к ним за обедом, когда за неведомым бредом

Он устремлялся вослед, как за тем крысоловом,
что неразумных детей увлекает в глубины.
Званным гостям – нелогичным, сумбурноголовым —
сложно постигнуть, за что они были любимы.

Как замирало нутро в сладострастной щекотке,
обожжено, словно искрой, внезапным созвучьем,
как откровенья, что были нетрезвы, нечетки,
он собирал со стараньем почти паучьим.

Кем он себя окружал на любительских снимках,
вспышке навстречу лицом расцветал, словно астра.
Но никогда не узнают стоявшие с ним, как
он их выстраивал в столбики, в строчки кадастра,

чтобы взыскать с них в грядущем, когда они канут —
раньше ли, позже ли, в кущи ли, в пламень адов, —
строфами, главами, где наш герой упомянут.
Ибо зачем он тогда привечал этих гадов?

Мальчик спокойно уснул, ибо выход был найден
из лабиринта пугающей абракадабры.
Вечность застыла, как рыба в густом маринаде.
Он не упустит теперь ее скользкие жабры.

Осётр

Припомни, как готовились, когда
к нам ожидался из Москвы чиновник,
как размещались рюмки и блюда,
как размышлялось – положить чего в них?

К полудню пропитались этажи
твердокопченным запахом халявы.
Перетирались вилки и ножи,
а те из табуреток, что трухлявы,

поспешно убирались от греха —
подалее от именитых чресел.
В витрине эксклюзивные меха
с продажной целью модельер развесил.

Как свет зари из вымытых окон,
как жизни неизведанной попытка,
лучился новорожденный бекон
среди куполов алмазного напитка.

В аквариуме там живой осётр
парил, вообразив, что жизнь нетленна,
над родичами, что свой смертный одр
нашли в пакетах полиэтилена,

и тем гостям, что подошли впритык
к морским продуктам шагом торопливым,
исподтишка показывал язык
с белесоватым мраморным отливом...

...Всё изменилось через полчаса.
В потеках коньяка ржавели рюмки.
Припрятанная утром колбаса
торчала у буфетчицы из сумки.

Фуршет окончен, свита отбыла,
их ожидал ещё обед и ужин.
подобно голограмме, из стекла
мерцал осетр, но был уже не нужен —

Ни всплеск хвоста, ни трепет плавника,
ни погруженье в тёмные глубины...
Мы интересны до тех пор, пока
свежи, полезны и употребимы.

* * *

Зачем ты мне воображенье
когда-то даровал, Господь?
Недужное его брожение
мне выворачивает плоть.

Я в ожидании провала
молчу, фантазию зарыв
поглубже, чтобы не прорвало
её внезапно, как нарыв.

Но где в кругу несоответствий
я воплотить её смогу?
Вот так порою дарят в детстве
не шоколадку, а фольгу.

Что ж я не радуюсь подарку,
не относясь к числу обжор?
Зачем увлѣк меня под арку
неугомонный ухажѣр?

Его я тотчас обложила
за то, что был ко мне влеком.
Во лбу его набухла жила
лилово-бурым червяком.

Из этих слов, как бы из кучи,
он будет долго выползать...
А на дворе мороз трескучий,
и слова некому сказать.

Молитва

Господи, пошли мне жизнь вторую
или первой новый вариант.

Я свое нутро отполирую,
словно лакированный сервант.

Я из жизни исключу ошибки,
всяческих соблазнов избегу,
чтобы мыслей золотые рыбки,
вспыхивая, плавали в мозгу.

Вместо неопрятного овала
к подбородку стёкшего лица
выточи мне то, что чаровало
всех бы – от начала до конца

этой новой, непохожей жизни.
голос дай – чтоб нежен и певуч,
плоть мою расхристанную втисни
в оболочку хрупкую, как луч.

Помоги мне избежать уценки,
прикоснуться к таинствам позволь,
а из сердца, словно гвоздь из стенки,
выдерни заржавленную боль...

Но учти, Господь, что я такая —
обновленный облик заселив,
как червяк, инстинктам потакая,
словно белый прогрызу налив,

сызнова в душе своей загажу
яблочную сладкую дыру,
из-под век на мир просыплю сажу,
перестану жить, но не умру.

Из родимых пятен, червоточин,
из зрачков, в которых свет потух,
выползет – ленив и скособочен —
застарелый, неизжитый дух.

Буду я весьма живой персоной
лезть в глаза, вторгаться в диалог,
и тебя в молитве полусонной
умолять о третьей жизни, Бог.

Часть 2. Осенний сад

Небесный лыжник

1

Наш самолет вознёсся наконец.
Иллюминатор, словно леденец,
расплавился в малиновых лучах,
аэродром качнулся и зачах
и закружился сорванным листом
внизу в потоке воздуха густом.
И мы, с изнанки облака прошив,
глядим, как ослепительно фальшив
знакомый мир с обратной стороны.
В небесной кухне стряпаются сны
из сумрачного теста облаков.
Они преобразуются легко
в любой предпочитаемый фантом.
Их будто выдувает пухлым ртом
младенец, запеленатый внутри
зари и мглы. Сверкают пузыри
и тают в соответствии с игрой.
И облака меняют свой покррой.

И лепит за стеклом летучий дым
то бабочку, то льва с лицом седым,
то памятник неведомо кому,
чьи стопы запечатаны во тьму.
Но почему, фантазию дразня,
по небесам проложена лыжня?
Не лайнер, пролетающий внизу,
похожий на железную слезу
на атмосфере делает надрез,
а человек, что некогда исчез
из жизни, с нею больше не знаком,
за горизонт шагает с рюкзаком.
И снег под ним непрочен и красив...
Вдруг, воздух лыжной палкою пронзив,
он вздрогнет, словно подмигнув спиной...
Что он узрел за рваной пеленой?

2

...Что хочет разглядеть он в мутном иле
внезапно приоткрывшейся реки?
Внизу под ним снуют автомобили —
в чешуйках металлических мальки.

Деревья там, как водоросли, выются,
как ракушки сверкают скаты крыш.
Там водоемов треснувшие блюдца,

фабричных труб заржавленный камыш.

Для тех, кто в нижних плещется озёрах
и загорает меж прибрежных трав,
исчезнувшее имя – только шорох.
Порой, случайно голову задрав,

они заметят в облаках рисунок —
бесформенная куртка, капюшон.
Небесный лыжник понаделал лунок
и сверху наблюдает, отрешён.

Он понимает – мир многоэтажен.
Осталось ждать на третьем этаже,
когда навстречу вынырнут из скважин
Те, кто внизу о нём забыл уже.

Реанимация природы

Природу, выходящую из комы,
тревожат проявления весны.
Просторны небеса, но незнакомы.
Сосуды рек становятся тесны,
взрываясь под напором новой крови.
И морщат травы пепельные брови.

Где снежный холм отсвечивал плешинной
в родимых пятнах бурого песка,
горошек закруживался мышинный.
Так жизнь, как смерть, ползёт исподтишка.
Так пруд, как глаз искусственный и карий,
блестит во мшистом вытертом футляре.

И вот из непонятного раствора
воды и почвы, воздуха и тьмы
опять реанимируется флора
для нас непостижимая. Ведь мы
уверены, что раз перегорим и
уже ни в ком не будем повторимы.

А посему не ждём, чтоб нам вернули
всех тех, кого, однажды потеряв,
не обретём ни в марте, ни в июле,
пусть мир без них – непрочен и дыряв —

трещит, как марля. В старом перегнутом
существованье вызреет иное.

Наводнение

Недавно город был продут
таким нездешним ураганом,
что где-то в недрах наших тел
кровь опрокинулась, застыв,
как будто рухнувший редут
вдруг обнажил лицо врага нам,
враг приближался и свистел
непредсказуемый мотив.

Нёс ветер музыку, дробя
её по каменным изгибам.
Мазуркою сменялся марш,
вой волка – бляньем козла.
И переросшая себя
вода в каналах встала дыбом
и, как из мясорубки фарш,
через решётки поползла.

Река стремилась расколоть
свои гранитные границы
и, запрокинувшись как мост,
на нас обрушиться с небес.
Её раздавленная плоть
мечтала с небом породниться —
так, чтоб песок колючих звёзд

в ней растворился и исчез.

А нам казалось, что с Луны
за нитку дёргает приливы
хозяин ветра и судьбы —
неуловимый кукловод.
Он нам глагол «обречены»
переменил на слово «живы»,
переиграл, как будто бы
мы недостойны этих вод.

Река ушла, прополоскав
пустые коридоры улиц,
лишь кое-где на мостовой
цветут ажурные плевки.
И город, словно батискаф,
всплывает медленно, сутулясь,
сверяя пульс неверный свой
с сердцебиением реки.

Снежный король

Когда замрёт на дне Летейского проспекта
гремучая волна,
на каменный балкон выходит бледный Некто
под нимбом цвета льна.

Он издали похож на Кая-аутиста —
ему не надо Герд.
Он небожитель, но лицо его землисто.
Лицо его – конверт.

Оно почти мертво, поскольку рот запаян
застывшим сургучом.
Он – ледяных словес единственный хозяин —
на вечность обречён.

Мы ждём, когда слетят фонемные фантомы
из уст его – на наст.
Из снежной шелухи, что подберём потом мы,
фанатик воссоздаст

снежинок чертежи, конструкции фигурок,
глаголы изо льда,
пока не упадёт, как брошенный окурок,
Полярная звезда.

И местный неофит, стремясь к светилу ближе,
реши́т: «Пости́г, достал».

Но в потном кулачке растает мутной жижей
блистательный кристалл.

Март

Март. Авитаминоз.
Снег, растоптанный в прах.
Перхоть пыльных мимоз.
Вспышки солнца и слёз
в непривычных глазах.

Как фарфор костяной,
беззащитны виски.
Каждый звук за стеной
вызывает весной
дребезжанье тоски.

В этом гуле – разрыв
кристаллических льдов,
запредельный мотив —
если ты ещё жив,
то к нему не готов.

Значит, смог доползти
до весны сквозь январь,
чтоб глядеть, как блестит
в складках кариатид
прошлогодня гарь.

А судьба, что предрёк

для себя наперёд, —
лишь прозрачный намёк —
пустоты пузырёк,
запечатанный в лёд.

* * *

Невоплотившееся лето,
засыпанное снегом в мае, —
так композицию балета
внезапно режиссёр ломает.
Зачем встречаются стихии
и происходит сдвиг в сезонах?
Ветра холодные, сухие
шуруют в листьях потрясённых.
Иные слышатся мотивы,
где флейта тянется к гобою.
Вы так же, как природа, лживы,
вам надоело быть собою.
Вы бредите, изнемогая
в пелёнках выцветших иллюзий,
что где-то есть душа другая,
она затопит, словно в шлюзе,
пустоты жизни и сквозь холод
вас напоит, как вы хотели,
чтоб таял разум, перемолот,

как льдинка в огненном коктейле.
Две темноты, желая слиться,
плывут, как шёпот, к изголовью.
Неузнаваемые лица
обезображены любовью.

И луч Луны глядит, пришпилив
вас рядышком в один гербарий,
как будто бабочку, чьих крыльев
размах возможен только в паре.
Так проще долететь до рая
и не заметить при полёте
тот миг, когда душа вторая
затянет вашу и проглотит.
Вы сморщитесь и ускользнёте,
в чужой судьбе себя сжимая,
как пузырьки воды в болоте,
как снег посередине мая.

Ондатры

На чужой стороне
вспомни сказку про Город лжецов.
Купол храма здесь не
позолочен, а серо-свинцов.

Всякий встречный соврёт.
Извергает не правду, а прах
искорёженный рот,
словно кратер в заросших горах.

А когда побредёшь
наугад к перекрёстку границ,
будет путь твой похож
на прощальную вспышку, на блиц.

Там река – это шрам,
что незримым клинком нанесли,
распоров пополам
заскорузлую кожу земли...

Под мостом, в глубине
наблюдая миграцию крыс,
не трясись, – это не
Апокалипсис, просто – эскиз.

Мириады хвостов
По теченью к запруде скользят.
На восход, на восток
иль на запад плывут – на закат?

Куст навис, бородат,
растрепав паутинки ветлы,
над потоком ондатр
в шерстяном шелестении мглы.

Тектонический гуд
возникает, напасти суля.
Вот и крысы бегут
прочь из города – не с корабля...

И пронзает насквозь
то ли грусть, то ли боли фантом,
как ондатровый хвост,
исчезающий там – под мостом.

* * *

На закате в окрестных лесах не гуляй,
не ныряй в неположенном месте.
Здесь река воровата, – сорвёт невзначай
и утянет серебряный крестик.

Померещится вдруг, что погибель сладка
в ржаво-илистой ванне-нирване,
над которой безмолвно парят облака —
невесомые, словно дыхание.

Ты вослед за лучом, по теченью, ничей
поплывёшь, уносимый стремниной,
к берегам, где в сиянии сосен-свечей
холм пылает, как торт именинный.

Здесь разлит стеариновый свет сентября,
словно рислинг в незримых бокалах,
и ползёт вдоль просёлка сквозняк, тебя
занавески в домах обветшалых.

Здесь внезапно поймёшь, робко переступив,
переплыв заповедные грани:
жизнь и смерть – это просто прилив и отлив
в нескончаемом чередованье.

Смерть зимы

Ты засыпал зимою замороженным
с той, чьи уста искрились вьюжным крушоном,
сочно сверкали, как виньетки в Версале,
чьи лобызанья в кожу твою вмерзали.
Ты был обкормлен липким снежным попкорном,
Намертво упоён вином иллюзорным.

Поторопись – до разрыва, до разлива ручья
сбрось снежинки брезгливо, словно перхоть с плеча.

Ты поклонялся холмикам белым, млечным,
одолеваем вечным желанием – лечь на
мягкое нечто, вроде перины или трясины,
не замечал сосулек оскал крысиный,
не понимал пока, что финал фатален,
скоро повеет падалью из проталин.

Это в спазмах больного ума, миазмах гнилых зубов
умирает зима, надоевшая, словно любовь.

Храм твой нерукотворный лежит в руинах,
словно сугроб в крестах следов воробьиных.
Где поутру в любом проёме оконном
образ зимы сиял подобно иконам,
тает лицо, что было неповторимо,

стёкла марают потёками слёз и грима.

Скоро снаружи сад загремит листвой.

Окна открой, обживай новый рай – он твой!

Прощание с февралём

Скоро – апрель, но ты не спешишь уйти.
Скомканный снег в низине зажат в горсти
желтой травы – платком в кулаке больного.
Что ж ты среди весны упрямо застрял —
тянешь к себе изодранный материал
жизни, как будто надеясь вернуться снова.

Сложно постичь, зачем тебе эта ложь.
Вышел из пустоты и уйдешь в неё ж.
Но не сгниёшь, а лишь переменишь имя.
Облик обрушится – вычурный, как каскад.
Волосы упадут с каменного виска
талыми струями – некогда ледяными.

Так уплывай же, речь свою воплотив
в пенье воды, поскольку время – мотив.
Ты отыграл его, совершил обряд, но
солнечный луч, как ретушёр, придаст
яркость былым чертам, и сквозь бледный наст,
словно сквозь кожу, вылезут неопратно

пятна песка, щетина осенних трав.
Поздний февраль, ты хочешь, судьбу поправ,
вспять побежать и смерть обмануть. Едва ли!
Время сломалось, ты из него изъят.

Ржавые листья в юной траве звенят,
словно часов разрозненные детали.

Дачница

Твой сад – цветной лоскут,
пришпиленный к бетону.
Гамак плывёт, как спрут,
качаясь монотонно,

сквозь морозящий дождь,
весь в чешуе черёмух.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.